

И. Г. ДОБРОДОМОВ  
И. А. ПИЛЬЩИКОВ

ЛЕКСИКА  
И ФРАЗЕОЛОГИЯ  
«ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»

Герменевтические очерки



«Языки славянских культур»

Москва 2008

*Издание осуществлено при поддержке  
Российского гуманитарного научного фонда  
(проект № 06-04-16154д)*

Редактор А. Б. Пеньковский

**Добродомов И. Г., Пильщиков И. А.**

Д 56 Лексика и фразеология «Евгения Онегина»: Герменевтические очерки. — М.: Языки слав. культур, 2008. — 312 с. — (Philologica russica et speculativa; Т. VI).

ISBN 5-9551-0229-9

Очерки, собранные в книге, посвящены «темным местам» пушкинского романа, трудность интерпретации которых связана с особенностями словоупотребления и спецификой поэтического языка первой трети XIX столетия. Предмет исследования — редкие и устаревшие слова и обороты, сегодня совершенно забытые или изменившие свое значение. Рассмотрение исторических сдвигов в семантике пушкинских слов и выражений ведется на широком языковом и культурном материале. Изучению поэтического словоупотребления предшествует скрупулезный анализ лексикографических данных. Особое внимание уделено иноязычным и заимствованным словам, а также именам собственным. Проблемы поэтической семантики обсуждаются в тесной связи с вопросами пушкинской текстологии и орфографии.

Книга будет интересна пушкинистам, историкам русской литературы и русского языка, лексикологам, текстологам, специалистам по лингвистической поэтике и всем, кто хочет глубже понять культуру пушкинского времени.

ББК 81.031

ISBN 5-9551-0229-9



© И. Г. Добродомов, И. А. Пильщиков, 2008  
© Языки славянских культур, 2008  
© Philologica, 2008

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

---

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	7
<i>Всевышней волею Зевеса</i> («Евгеній Онѣгинъ», 1, II, 3)	11
<i>Какъ D a n d y</i> Лондонскій, одѣтъ (1, IV, 7)	19
<i>Ученый малый, но педантъ</i> (1, V, 7)	28
<i>Потолковать объ Ювеналѣ</i> (1, VI, 5)	43
« <i>Поди! поди!</i> » раздался крикъ (1, XVI, 2)	50
<i>Rost-beef</i> и <i>beef-steaks</i> (1, XVI, 9; 1, XXXVII, 8)	64
<i>Винегретъ / vinaigrette</i> (1, XVI, 10, варианты)	72
<i>Армида. Цирцея. Филлида</i> (1, XXXIII, 10; 3, II, 9 и др.)	84
<i>Въ окно смотрѣлъ и мухъ давилъ</i> (2, III, 4)	91
<i>Его цѣвницы первый стонъ</i> (2, XXII, 4)	100
<i>Текутъ элегии рѣвкой</i> (4, XXXI, 7)	118
<i>Ямщикъ сидитъ на облучкѣ</i> (5, II, 7)	125
<i>Виргилій &amp; al.</i> (5, XXII, 8 сл.)	133
<i>Una gente a cui l' morir non dole</i> (гл. 6, эпиграф)	142
<i>Озарена лучемъ Діаны</i> (6, II, 12)	150
<i>Эпикурейцы-мудрецы</i> (7, IV, 2)	156
<i>Форрейторъ бородатый</i> (7, XXXII, 6)	160

<i>У ночи много звѣздъ прелестныхъ</i> («Евгеній Онѣгинъ», 7, LII, 1)	170
<i>Немолчный шопотъ Нериды</i> (8, IV, 12)	181
<i>Соблазнительная честь</i> (8, XLIV, 14)	187
<i>Корсаръ въ отставкѣ, Морали</i> («Путешествіе Онѣгина»)	207
Библиография	221
Указатели	267
Указатель слов, форм и выражений	269
Указатель произведений и писемъ Пушкина	295
Указатель имен	300

---

## ПРЕДИСЛОВИЕ

В XX веке отечественная история, казалось, ускорила свой ход. За относительно небольшой период времени дважды кардинально изменился жизненный уклад. По мере того, как увеличивается временная и культурная дистанция, всё менее отчетливыми становятся для нас очертания дворянской России XIX столетия. Поэтому, читая произведения русской классической литературы, мы оказываемся в положении иностранцев, не вполне знакомых с языком и бытом чужой страны: «сплошь и рядом пропадает для сегодняшнего читателя намек на факт, когда-то известный, ныне совершенно забытый, на обычай, вышедший из употребления, на бытовую деталь, вытесненную развитием техники и изменением социальных отношений. Нам не вполне ясны обиход крепостного периода, городская жизнь в иных условиях и вся сложная система обычаев, связанных с иными материальными условиями жизни, передвижения, труда, досуга и т. п.» [Томашевский 1959: 29—30].

Другая причина недоумения и разного рода недоразумений — кажущаяся понятность языка позапрошлого столетия. Эту проблему четко сформулировал А. Б. Пеньковский: «⟨...⟩ общепринятое определение хронологических границ современного русского литературного языка по формуле „от Пушкина до наших дней“ ⟨...⟩ на самом деле глубоко ошибочно. В действительности тот язык, на котором думал, говорил, писал и творил Пушкин, — это язык, во многом близкий к современному, очень на него похожий, но в то же время глубоко от него отличный» [Пеньковский 2005: 6; ср. 2003а: 580—582]. Мы не всегда понимаем Пуш-

## Предисловие

кина, в том числе потому, что плохо знаем его язык: «Здесь имеет место явление, близкое тому, что принято называть „ложными друзьями переводчика“ (...) но только действующее в сознании читателей, уверенных, что они читают текст на своем языке, тогда как на самом деле они переводят его с другого (пусть близкого, но другого!) — если не языка, то состояния языка, и переводят, как выясняется, с более или менее серьезными ошибками» [Пеньковский 2005: 9].

Зачастую мы не только не постигаем особенностей пушкинского словоупотребления, но и не знаем самих норм, с которыми поэт не мог не считаться. Более того, нам иногда неизвестно даже буквальное значение слов, давно знакомых нам из книг. Как писал Ю. М. Лотман, «самая легкость стиха, привычность содержания, знакомого с детства читателю и подчеркнуто простого, парадоксально создают добавочные трудности в понимании пушкинского романа в стихах. Иллюзорное представление о „понятности“ произведения скрывает от сознания современного читателя огромное число непонятных ему слов, выражений, фразеологизмов, имен, намеков, цитат. Задумываться над стихом, который знаешь с детства, представляется ничем не оправданным педантизмом. Однако стоит преодолеть этот наивный оптимизм неискушенного читателя, чтобы сделалось очевидно, как далеки мы даже от простого текстуального понимания романа» [Лотман 1975: 5; ср. Черных 1956: 173—176]. Между тем разужнать, что означают те или иные редкие слова и выражения, не так-то просто. В комментариях к художественным произведениям постоянно встречаются лакуны и неточности: литературоведы не всегда учитывают результаты изысканий историков и лингвистов, а многие проблемы до сих пор недостаточно освещены в науке. Иной раз, не найдя в словарях и справочниках толкования непонятого слова, комментаторы оставляют его без объяснений или же предлагают собственную, порой весьма произвольную интерпретацию.

Причины, по которым в литературные примечания попадают недостоверные сведения, подчас кроются не столько в недобросовестности комментаторов, сколько в незаинтересованном отношении создателей толковых словарей к редким и забытым словам и оборотам. Дело в том, что большинство современных академических толковых словарей имеет нормативный характер, поэтому нестандартные слова и значения, особенно устаревшие, обычно ими не фиксируются. Насущная потребность в учете необщепотребительных языковых явлений вызвала к жизни целую серию

## Предисловие

словарей редких слов, выходящих в свет со второй половины 1990-х годов. Рецензенты отдавали должное замыслам составителей этих словарей, но вместе с тем указывали на многочисленные промахи в трактовках слов и выражений и ненадежность лексикографической базы (см., например: [Копосов 1997; Добродомов 1998а; Добродомов, Николина 1998; Пильщиков 1998а; 1998б; Краснянский 1999; Добродомов, Шувалова 2000]). К сожалению, у подобных изданий есть еще один серьезный недостаток: почти все они представляют собой компиляции и содержат критически не осмысленный материал. Поэтому вместе с полезной информацией в них проникают стародавние погрешности и прямые ошибки, кочующие из словаря в словарь.

Таким образом, довольно часто ни личный культурный опыт, ни интуиция, ни комментарии, ни современные словари не способны помочь читателю понять текст. Цель настоящей монографии — прояснить хотя бы часть «темных мест» «Евгения Онегина», трудность интерпретации которых связана со спецификой словоупотребления и своеобразием поэтического языка пушкинской поры. Предмет исследования — редкие или устаревшие слова и обороты, которые были хорошо известны Пушкину и его современникам, но сегодня либо совсем забыты, либо понимаются превратно. Авторов особенно интересуют иноязычные и заимствованные (*иноплемённые*, как говорит Пушкин) слова, а также имена собственные — как те, что приобретают значение нарицательных, так и те, которые поэт употребляет ради их экспрессивного ореола. Специальное внимание уделено феномену неоднозначности поэтического высказывания и языковым механизмам ее создания.

Изучение исторических сдвигов в смысловой стороне пушкинских слов и выражений ведется на широком языковом и литературном материале XVIII—XX вв. По замечанию В. В. Виноградова, «для Пушкина слово, фраза, помимо своих вещественных значений, были отягчены отслоениями литературной традиции, литературных стилей. Быт и литература сочетаются в предметно-смысловых формах пушкинского слова и тем углубляют его семантическую перспективу» [Виноградов 1941а: 117]. Исследование литературной культуры, безусловно, приближает нас к пониманию тех «значений, которые как бы просвечивают сквозь прямые значения слова в поэтическом языке» [Винокур 1959: 247]. Однако решению задач, относящихся к ведению истории литературы и поэтики, должен, по нашему мнению, предшествовать скрупулёзный анализ лексикографических данных.

## Предисловие

Еще одна (на наш взгляд, очень существенная) особенность этой книги заключается в том, что проблемы поэтической семантики мы обсуждаем в тесной связи с вопросами текстологии и орфографии, стараясь всегда принимать в расчет свидетельства рукописных и печатных источников пушкинского романа. Филологическая герменевтика не может претендовать на адекватность без учета аутентичной письменной формы интерпретируемого текста: в целом ряде случаев именно особенности правописания, которые игнорируются абсолютным большинством современных изданий русских классиков, позволяют выявить генезис пушкинского слова и круг его культурных ассоциаций. По этой причине во всех цитатах мы сохраняем письменную систему источника, невзирая на возникающий орфографический и пунктуационный разнобой. Дополнительным аргументом в пользу такого решения является тезис о потенциальной значимости всех уровней и аспектов поэтического языка, распространяемый, в том числе, на орфографию и пунктуацию: подгонка художественного текста под современные нормы неизбежно ведет к большему или меньшему искажению его стилистики, поэтики, семантики и прагматики [Шапир 2000а: 224—240; 2001; Перцов 2008].

Отдельные очерки, собранные теперь под одной обложкой, были опубликованы ранее, а для настоящего издания переработаны и расширены [Пильщиков 1999а—1999д; 1999/2000а; 2004а—2004д; Добродомов 2001б—2001г; 2002а; 2002б; 2004а—2004в; 2006; Добродомов, Пильщиков 2000; 2001б; 2002а; 2002б; 2003; 2004а; 2004б; 2006; 2007]. Некоторые материалы представлены вниманию читателей впервые. Мы с благодарностью учли дополнения, поправки и замечания друзей и коллег — М. В. Акимовой, Н. С. Араповой, А. С. Белоусовой, В. С. Белоусовой, С. Г. Болотова, В. М. Гацака, К. А. Головастикова, А. А. Добрицына, А. В. Дубровского, Н. И. Епишкина, В. Н. Захарова, Н. Н. Казанского, А. Б. Куделина, Т. М. Левиной, С. Е. Ляпина, Н. И. Михайловой, А. Б. Пеньковского, Н. В. Перцова, В. Познер, Н. В. Пильщиковой, В. В. Цофки, А. Я. Шайкевича, В. В. Шаповала, Е. В. Шаульского и ушедшего от нас М. И. Шапира, памяти которого посвящается эта книга.



---

**«ВСЕВЫШНЕЙ ВОЛЕЮ ЗЕВЕСА»  
(«Евгеній Онѣгинъ», 1, II, 3)**

«Евгеній Онегин» начинается *ex abrupto*. За начальной строфой, которая представляет собой внутренний монолог главного героя, следует первая авторская реплика:

Такъ думалъ молодой повѣса,  
Летя въ пыли на почтовыхъ,  
Всевышней волею Зевеса  
Наслѣдникъ всѣхъ своихъ родныхъ.

(1, II, 1—4)<sup>1</sup>

3-я строка озадачивала исследователей немотивированным на первый взгляд упоминанием верховного олимпийского божества. Автор «Краткого лингвистического комментария» к «Онегину» прокомментировал это место так: «Своеобразие индивидуально-авторского употребления слова *Зевес* заключается в том, что имя языческого бога используется для обозначения православного Бога (*по воле Бога, воля Божия*)» [Шанский 1998, № 4: 122; 1999б: 205—206]. Но мы не имеем оснований полагать, что Пушкин называет языческим именем библейского Бога (к которому обычно относится эпитет *всевышний*). В. В. Набоков усмотрел в этом стихе «французскую формулу „*par le suprême vouloir*“» [Набоков-Сирин 1957а: 134; Nabokov 1964, 2: 36], хотя у нас нет данных, свидетельствующих, что это выражение пришло в русский язык из французского. Во французском энálлага (перенос определения в именной группе с одного существительного на другое) встречается чаще, чем в русском, однако употребление

«Всевышней волею Зевеса»

прилагательного *всевышний* в значении 'принадлежащий высшему существу' для русского языка XVIII и начала XIX в. вполне обычно [СЯ XVIII, вып. 4: 139]. Ср. у Сумарокова в переложении церковного песнопения «Плачу и рыдаю»:

Не постигнуть, Боже! тайны сей умы,  
Что къ такой злой долъ  
По Всевышней волъ,  
Сотворенны мы,  
Божества рукою.

[Сумароков 1760: 111]

У Муравьева в торжественной оде «Осмынадесятый ныне раз...» (1772):

Се зрю: отверзлись небеса  
И раздралась веков запона.  
Предвечны там стоят веса  
Всевышней воли и закона.

[Муравьев 1967: 89]

Зевес — бог-громовержец, грозный вершитель судеб, чьей власти подчиняются небожители и смертные, — нередко упоминается в «легкой поэзии» первой четверти XIX в. Ср. у Батюшкова в элегии «Привидение»:

⟨...⟩ Парка дни мои щитаеъ  
И отсрочки не даеъ.  
Что же медлить! вѣдь Зевеса  
Плачь и стонъ не умолитъ.  
Смерти мрачной занавѣса  
Упадеъ — и я забытъ!

[Батюшков 1810: 108—109]

В элегии Баратынского «Элизийские поля» (1821—1824) читаем:

И вамъ, чрезъ день или другой,  
Законъ губительный Зевеса  
Велитъ покинуть мiръ земной ⟨...⟩

[Баратынский 1827: 54]

У раннего Пушкина имя Зевеса обычно олицетворяет не суровые законы, а блага бытия:

«Евгеній Онѣгинъ», 1, II, 3

Блажен, кто в низкий свой шалаш  
В мольбах не просит Счастья!  
Ему Зевес надежный страж  
От грозного ненастья <...>

(«Мечтатель», 1815 [1: 124])

Но если только буду жив,  
Всевышней благодатью Зевеса <...>

(«К бар. М. А. Дельви́г», 1815 [1: 151])

Зевес, балуя смертных чад,  
Всем возрастам дает игрушки <...>

(«Стансы Толстому», 1819 [2, кн. 1: 109])

Лексико-синтаксическая формула из послания 1815 г. (*Всевышней благодатью Зевеса*) повторена в первой главе «Онегина» (*Всевышней волею Зевеса*) [Nabokov 1964, 2: 36]<sup>2</sup>. Сочетание славянизма *благодать* с именем *Зевеса* не противоречит стилистике младокарамзинизма — одновременно с Пушкиным эти слова соединил Жуковский во второй редакции стихотворения «Моя Богиня»: <...> *Но мы, отличенные // Зевесовой благодатью!*... [Жуковский 1816: 44]<sup>3</sup>. Что же касается эпитета *всевышний*, то Пушкин и позже мог применить его к языческим божествам — такое словоупотребление можно считать характерно пушкинским. Ср. в наброске перевода из Саути («Еще одной высокой, важной песни...», 1829):

Советники Зевеса,  
Живете ль вы в небесной глубине,  
Иль, божества всевышние <...> [3, кн. 1: 192]

В подлиннике («Hymn to the Penates»):

<...> whether, as sages deem,  
Ye dwell in the inmost Heaven, the COUNSELLORS  
Of Jove; or if, SUPREME OF DEITIES <...>

[Southey 1829: 689]<sup>4</sup>

Важная составляющая литературного облика Зевеса — его любовные похождения. По представлениям древних, Зевес (точнее, Зевс, Ζεύς) не отличался супружеской верностью и легко «сходилась со многими смертными женщинами и богинями» (Apollod. I, 3, 1). В новое время особенной

«Всевышней волею Зевеса»

популярностью пользовался миф о Леде, которую царь богов соблазнил, явившись к ней в облике лебедя (ср. Apollod. III, 10, 7). Этому сюжету посвящена кантата Пушкина «Леда» (1814):

Вид сладострастный!  
К Леде прекрасной  
Лебедь приник (...)

Опомнись наконец, красавица младая  
Открыла тихий взор, в томленьях въздыхая,  
И что ж увидела? — На ложе из цветов  
Она покоится в объятиях Зевеса;  
Меж ними юная любовь, —  
И пала таинства прелестного завеса [1: 88].

Тема Зевеса-лебедя подана у юного Пушкина не намного скромнее, чем у Парни в откровенно эротическом стихотворении «Léda», которое в конце 1824 г. перевел Баратынский:

Пріють свой прежній покидаеть  
Тогда нескромный лебедь мой;  
Онъ томно шею обвиваетъ  
Вкругъ шеи дѣвы молодой (...)  
Затрепеталъ крылами онъ,  
И вырывается у Леды  
И дѣвства крикъ, и нѣги стонъ.

[Баратынский 1825: 223, [XIII] (поправка)]<sup>5</sup>

Пушкин был хорошо знаком с фривольными трактовками образа Зевеса. В ироикомической поэме В. И. Майкова «Елисей, или Раздраженный Вах» Зевес говорит Эрмию (I, 379—384):

Отъ непрестанныя забавы въ прежни дни  
Побольше всѣхъ боговъ имѣю я родни (...)  
Не чудно, что я вамъ столь многимъ емь отецъ(,) )  
Хитро, что мой поднесъ не баливал(ъ) хрестецъ.

[Майков В. 1771: 14—15]

Об этом эпизоде Пушкин отзывался в письме к А. А. Бестужеву от 12 июня 1823 г.: «Елисей истинно смешонъ»; «А разговоръ Зевеса съ Меркуріемъ (то есть Эрмием. — И. Д., И. П.) (...) все это уморительно» [Пушкин 1926, I: 50—51; Томашевский 1956а: 593; Цявловский 2002:

264—265]. По-видимому, реминисценцией из майковской поэмы является замечание о многодетности Зевеса в пушкинской «Гавриилиаде» (1821):

И царь небес, не говоря ни слова,  
С престола встал и манием бровей  
Всех удалил, как древний бог Гомера,  
Когда смирял бесчисленных детей;  
Но в Греции навек погасла вера,  
Зевеса нет, мы сделали умней! [4: 134]

В «Евгении Онегине» мотив Зевеса имеет бурлескный характер. Всякие сомнения в этом отпадают, когда мы обращаемся к отброшенным в окончательном тексте романа стихам (5, XXXVII, 7—9), содержащим ироническое сравнение «Онегина» с «Илиадой» (они были напечатаны в отдельном издании четвертой и пятой глав):

Твоя Киприда, твой Зевесъ  
Большой имѣють перевѣсъ  
Передъ Онѣгинимъ холоднымъ,  
Предъ сонной скукою полей (...)  
Но Таня (присягну) милѣй  
Елены пакостной твоей.

[Пушкин 1828а, гл. IV/V: 85]

А в «одесских» строфах из «Путешествия Онегина» комический, бурлескный эффект достигается путем совмещения «высокого» слога (о котором сигнализирует имя Зевеса) и «низкой» темы (одесская грязь):

Въ году недѣль пять-шесть Одесса,  
По волѣ бурнаго Зевеса,  
Потоплена, запружена,  
Въ густой грязи погружена.

Нужно отметить, что в последнем фрагменте обыгрывается еще одна ипостась Громовержца: он насылает ветры, облака и дожди. Гомер называет Зевса [ὁ] νεφεληγερέτα 'тучесобиратель, воздыматель туч' (Iliad. I, 511, 517, 560 и др.), его эпитет — χελαινεφής 'чернооблачный' (Iliad. I, 397; II, 412 и др.).

В набросках «одесских» строф Пушкин пробовал иной вариант второго из процитированных стихов: По( )манію [(?) Зевеса [ПД № 835, л. 66 об.; 6: 466]<sup>6</sup>. Это же слово, как мы видели, употреблено в «Гаври-

илиаде» («...» манием бровей // Всех удалил (...)). Деталь восходит к Гомеру: *Рек, и во знаменье черными Зевс помавает бровями* (ἼΗ καὶ χρυα-νέησιβ ἐπ' ὄφρυσί νεῦσε Κρονίωv); *Рек — и манием черных бровей утвердил то Кронион* (Iliad. I, 528; XVII, 209; пер. Н. И. Гнедича). Повелительное, не терпящее прекословий мановение — это, пожалуй, всё, что осталось в Зевесе «Гавриилиады» и «Онегина» от сурового античного бога, *кто манием бровей колеблет неба свод* (cūncta superciliō moventis) (Ног. Carm. III, 1, 8; пер. И. И. Дмитриева, 1794).

Окончательному чтению стихов 1, II, 3—4: *Всевышней волею Зевеса // Наслѣдникъ всѣхъ своихъ родныхъ* — предшествовали черновые варианты: *Лишивишишь волею Зевеса; По волѣ вѣчнаго (?) Зевеса; По волѣ неба иль Зевеса* [ПД № 834, л. 4 об.; 6: 214]. Шутливая апелляция к божественной *волѣ* связана с установкой Пушкина на пародирование героического эпоса (тенденция, сближающая «Онегина» с ироикомикой и бурлеском). Наиболее яркой приметой бурлескного стиля в пушкинском романе оказывается запоздалое *вступленье*, которое помещено в самом конце седьмой главы и носит откровенно пародийный характер. Оно взяло на себя ту ироикомическую функцию, которую раньше играли «гомеровские» стрóфы пятой главы: когда в романе появилось *вступленье*, они были сняты. Как показал М. И. Шапир, «поэтика классицизма de facto признавала вступление к эпической поэме едва ли не основным ее жанрообразующим фактором. На его долю приходится два из трех неперменных элементов ее композиции: „предложение“ и „призывание“. Оба компонента эпического вступления отчетливо выражены у Пушкина: *Пою пріятеля младова // И множество его причудъ* („предложение“); *Благослови мой долгій трудъ, // О ты, эпическая Муза! // И вѣрный посохъ мнѣ вручивъ, // Не дай блуждать мнѣ вкось и въ крив(ѣ)* („призывание“» [Шапир 2000а: 243; ср. 1999а: 32].

Именно с традиционным эпическим зачином соотносится II строфа первой главы романа [Пильщиков 1999д: 445; Шапир 2000а: 228; Пильщиков, Шапир 2006: 528]. О подвигах Ахилла в начальных строках «Илиады» сказано: Διὸς δ' ἑτελείετο βουλή = *совершалася Зевсова воля* (Iliad. I, 5; пер. Н. И. Гнедича). Во вступлении к «Энеиде» — том самом, которое Пушкин спародирует в седьмой главе «Онегина» [Шапир 1999а: 32—33; 2000а: 243—245], — Вергилий сообщает, что описываемые события произошли по воле разгневанной «царицы богов» Юноны, супруги Юпитера, который в римском пантеоне соответствовал Зевсу (Aen. I,

8—11). Кроме того, по наблюдению Набокова, имя Зевеса рифмуется у Пушкина со словом *повѣса*, как и у Майкова в «Елисея» (I, 513—514) [Набоков-Сирин 1957а: 134; Nabokov 1964, 2: 36; ср. Čiževsky 1953: xiii, 209, 210]. Таковы ироникомические истоки пушкинского «романа в стихах», явленные читателям на самых первых его страницах.

У зрелого Пушкина образ Зевеса присутствует всего в четырех произведениях, причем всякий раз он возникает в непосредственной связи с античной тематикой: *Взяв божественную лиру, // [Так] поведали бы миру // Гезиод или Омир: // Феб <...> [бродил] во мраке леса, // [И никто], страшась Зевеса, // [Из богинь иль из] богов // Навещать его не смели <...>* («Рифма, звучная подружка...», 1828); *Великой Зевс с супругой белоглавой // И мудрая богиня, дева силы, // Афинская Паллада* (набросок перевода из Саути «Еще одной высокой, важной песни...», 1829); *<...> Сколько богов, и богинь, и героев!... Вот Зевс Громовержец <...>* («Художнику», 1836); *Зевеса вот о чем и всюду и всегда // Привыкли вы молить <...>* (набросок перевода X сатиры Ювенала, 1836) [3, кн. 1: 121, 192, 416, 429]. Ни один из этих текстов не был напечатан при жизни автора: стихотворение о рифме осталось недоработанным, а оба перевода — неоконченными.

Со временем выражение *волею Зевеса*, пришедшее в «роман в стихах» из классической эпопеи, начало восприниматься как собственно пушкинское. В дальнейшем в русской литературе оно возникает не раз, но уже в качестве иронической реминисценции из «Евгения Онегина» — у Гоголя (вторая редакция «Ревизора») <sup>7</sup>, Некрасова («Всевышней волею Зевеса...») <sup>8</sup>, Помяловского («Андрей Федорыч Чебанов») <sup>9</sup> и др.

## Примечания

<sup>1</sup> За оговоренными исключениями дефинитивный текст «Евгения Онегина» цитируется по последнему прижизненному изданию [Пушкин 1837], а другие редакции и варианты и прочие произведения Пушкина — по большому академическому изданию [Пушкин 1937в—1949а]; при ссылках на это собрание указываются только номера томов, полутомов (книг) и страниц. Все выделения в цитатах, не отмеченные специально, принадлежат нам (в курсиве для этих целей используется полужирность, а в прямом шрифте — разрядка). В соответствии с общепринятой традицией в цитатах из рукописных источников курсивом обозначается подчеркивание, квадратными скобками — зачеркивание, угловыми скобками — конъектуры (такие же обозначения приняты в большом академическом издании Пушкина).